



СИМОНЕ СОМЕХ

ШИРОКИЙ

УГОЛ

Симоне Сомех

Широкий угол

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66840708

Широкий угол:

ISBN 978-5-906999-56-6

Аннотация

Размеренную жизнь ультраортодоксальной общины Бостона нарушил пятнадцатилетний Эзра Крамер – его выгнали из школы. Но причину знают только родители и директор: Эзра сделал фотографии девочки. И это там, где не то что фотографировать, а глядеть друг другу в глаза до свадьбы и помыслить нельзя. Экстренный план спасения семьи от позора – отправить сына в другой город, а потом в Израиль для продолжения религиозного образования. Но у Эзры есть собственный план.

Симоне Сомех, писатель, журналист, продюсер, родился и вырос в Италии, а сейчас живет в Нью-Йорке. Его дебютный роман, написанный с глубоким сочувствием к героям и изрядной долей юмора, переведен на несколько языков и удостоен престижной итальянской премии Виареджо.

Содержание

0	5
1	7
2	22
3	43
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Симоне Сомех

Широкий угол

© 2017 Casa Editrice Giuntina

© Издание на русском языке, оформление. ООО «ИД
«Книжники», 2022

0

Раздался грохот,

На другой стороне спора

Брайтон, 2007

я был в машине один. Даже не поранился, потому что по-настоящему калечат нас не аварии, а люди – своими словами и идиотскими идеями. Двигатель загорелся, из радио продолжала литься музыка, казавшаяся теперь такой же неуместной, как и сама затея угнать отцовскую машину и скрыться на ней в сердце ночи. Я не стал выходить, просить помощи, стучать в дверь ближайшего дома; я просто остался внутри, вот так, по-дурацки, надеясь, что, может, задохнусь. Какая-то женщина, жившая рядом, проснулась от запаха гари и вызвала скорую. Приехала полиция. Машину увез эвакуатор.

После аварии отец расстался с горой денег за ремонт, а мама выплакала море слез, и еще недели спустя она смотрела на меня глазами, полными страдания, будто я в любую секунду мог тоже взорваться, как тот двигатель.

Весь Брайтон говорил о парне, который в три часа ночи угнал у собственного отца машину и разбил ее: говорила Джуди Францман из кошерной¹ пекарни, говорили Бинья-

¹ Пояснения слов и выражений, помеченных звездочкой, см. на стр. 252–254.

мин Фишер со своей женой, и мои родители говорили об этом с раввином.

Не говорил о случившемся только я.

1

Тетя Сьюзи предложила мне поесть,

но я отказался.

– Звонишь, просишь помочь, а потом от моих блюд нос воротишь? – возмутилась она с явным раздражением.

Тетя Сьюзи смотрела на меня. У нее были пышные иссиня-черные волосы, возможно, в прошлом они были похожи с сестрой, моей матерью, – до того, как мама покрыла голову и начала носить благопристойные длинные платья. Тетя почти никогда не улыбалась, но, вопреки первому впечатлению, была полна жизнелюбия.

«От моих блюд нос воротишь». Она не сказала *«От моей еды нос воротишь»*. Потому что проблема была как раз в блюдах, то есть в посуде. Тетя Сьюзи никогда бы мне не предложила лобстера, или бекон, или еще что-нибудь некошерное. Но уже то, что в блюдах тети Сьюзи могло хоть раз лежать что-то недозволенное, делало их нечистыми, и пользоваться ими было нельзя.

– Да я не голодный, – соврал я.

– Тогда сиди и гляди, как я ем. Я-то голодна, и еще как!

Тетя принялась есть, а я – глядеть, как она и велела. Как же противно выглядят жующие люди, подумал я, отвел

взгляд от тетиного рта и принялся рассматривать тесную столовую. Несколько картин да пара безделушек – вот и все, что украшало темноватую комнату.

Тетя Сьюзи возобновила допрос:

– Ну и когда ты собираешься просветить меня насчет цели визита, Эзра?

– Сейчас, – ответил я. Достал из черного рюкзака белый конверт, где прятал копии снимков, стоивших мне исключения из школы. Тетя Сьюзи начала их просматривать и, не зная, как реагировать, изобразила на лице некую смесь неловкости, огорчения, ехидства и удивления, впрочем, не слишком-то сильного.

– Это кто?

– Малка Портман, – ответил я. – Сестра моего одноклассника Мойше Портмана. Красивая, правда? Мойше вечно хвастается, какая она красotka, и мне пришло в голову тайком провести ее на мальчишеский этаж, в туалет. Ничего лучше этих снимков у меня еще не получалось.

Тетя Сьюзи рассматривала фотографии одну за другой и точно так же, одну за другой, переворачивала пустой стороной вверх, будто чувствуя через них всю мощь посягательства на законы, причем законы не только школьные.

– Родители, я так понимаю, в восторге, – с иронией проговорила она.

– Ну, самих снимков они не видели. Но меня и Малку Портман из школы отчислили, чему я очень рад – не придет-

ся сражаться с мамой и папой, чтобы перевели меня в другую.

Я, конечно, не предполагал, что меня выгонят. Я не собирался никому показывать эти снимки, хотя в душе не сомневался, что однажды, если решу стать настоящим фотографом, они мне пригодятся. Фотографировать женщин в моей общине было под запретом. Многие парни из «Ешива Хай Скул» заканчивали школу, так ни разу и не посмотрев в глаза девочке. А я посмотрел Малке в глаза и даже сфотографировал их.

Превосходные снимки, в тысячу раз лучше тех, что я делал на свадьбах и бар мицвах*, где мои модели были замазаны толстым слоем тонального крема, а свет выставлен так, чтобы даже у старух морщины становились незаметными.

Что ж, Эзра Крамер всегда был головной болью своих родителей и учителей. Теперь их участь разделят еще и родители всех девочек общины, думал я. И даже раввины. До меня начала доходить вся серьезность моего поступка. Снимками я гордился, но после того, как их нашла миссис Портман, наводя порядок в комнате дочери, будущее рисовалось мне в самом мрачном свете. Джуди Францман никогда больше не предложит мне печенья, зайди я к ней в магазин поздороваться. Возможно, мама с папой выгонят меня из дома. Возможно, меня навеки исключат из общины. Возможно, Эзра Крамер в своей необузданной гениальности пятнадцатилетнего творца совершил величайшую ошибку своей

жизни. Возможно, умереть в ту ночь в машине с дымящимся вонючим двигателем было бы лучше.

Фотоаппарат «Никон» мне подарили на бар мицву родители. Не то что ребенку подарить, нельзя было даже упоминать о смартфонах – там же интернет, прямая дорога на порносайты, толкающие мужей изменять женам, а холостяков – тратить семя впустую. Фотоаппарат же казался более безобидным. Я давным-давно мечтал сбежать в порт фотографировать краны, но родителям сказал, что хочу снимать общинные праздники.

На трапезе по случаю Пурима я сделал сотню кадров, и один из молодых мужчин общины сказал, что у меня талант, а неделю спустя в отчаянии позвонил отец Биньямина Фишера: фотограф, которого наняли снимать свадьбу его сына, за два дня до праздника отказался «из-за недопонимания относительно оплаты». Я с радостью согласился его заменить и явился на праздник со своим «Никоном». Самым невероятным было то, что я мог свободно заходить на женскую половину – фотограф все-таки. Никто другой не смел пройти за мехицу*.

Слух о том, что я здорово снимаю, распространился быстро. Без меня теперь не обходился ни один праздник в ультраортодоксальной части Брайтона. Талант у меня был, но главное – за работу я просил всего ничего, а может, мне доверяли, потому что я был своим.

Но мне довольно быстро надоели и двадцатилетние жени-

хи, давящие стаканы, и краны в бостонском порту. Я просил одноклассников мне позировать, но они отвечали, что, мол, фотографироваться – проявление тщеславия и *битуль Тора*, трата драгоценного времени, которое следует уделять изучению священных книг. Когда Мойше Портман заговорил о своей сестре, я почувствовал, что вот оно. И действительно, Малка сразу согласилась, и никаких угрызений совести я не испытывал.

– А родители как отреагировали? – вывела меня из задумчивости тетя Сьюзи.

– Не знаю. Они всё узнали от директора, наверное, только что – их вызвали в школу. Может, решат отправить меня в какую-нибудь другую школу – и, наверное, уже не в Бостоне.

– Ох и тяжело им придется. На них теперь вся община ополчится.

– Да, вот только я туда, куда они меня отправят, не пойду – особенно в Монси². «Ешива Хай Скул» – это просто ужас, и я такого больше не хочу.

Тетя Сьюзи сняла очки для чтения, в которых разглядывала Малку Портман, и лицо ее приняло выражение, которое я очень любил – в нем я всегда видел поддержку.

– Ты у нас... как бы это сказать... необычный мальчик. Не надо так на меня смотреть, я серьезно. Но главное, каким бы неудобным ты ни казался этим... *людям*, – на последнем

² Пригород Нью-Йорка, в котором живут главным образом ультраортодоксальные евреи. – *Примеч. ред.*

слове ее лицо скривилось, – всем ясно, что для своего возраста ты очень умен. Учишься лучше всех в классе, да еще и с детства читаешь эти ваши толстые книги. Я-то всегда знала, что тебе не место в школе, где ничему толковому не учат. Послушай меня, вся эта история – отличная возможность перейти в школу, достойную тебя.

Дверь в родительскую спальню была закрыта. Неодолимая преграда, сквозь которую я с детства привык подслушивать их всегда безрадостные разговоры. Вот и тем вечером из спальни не доносилось ничего, кроме встревоженного шепота.

– За что нам все это? За что? – причитала мама. – Бог хочет нас покарать. Я это чувствую.

– Что мы сделали не так? Растили в общине, соблюдали все правила, следовали советам раввина, отправили его в нашу «Ешива Хай Скул». Но в чем-то все-таки ошиблись, – вторил ей отец.

– И где он таких гадостей понабрался? Точно не дома. Мы его оберегали от всех безумств, что творятся там, снаружи.

– Надо было после свадьбы не оставаться в Бостоне, а ехать в Монси.

– Да что ты такое говоришь, брайтонский раввин – наставник, каких поискать.

Последовало несколько минут тишины. Я затаил дыхание, чтобы родители меня не услышали. Затем отец продолжал:

– Надо решать, что делать. Нельзя, чтобы узнали в общи-

не, иначе нас прогонят – раз и навсегда. Другие родители решат, что Эзра плохо влияет на их детей. Директор обещал, что причину исключения разглашать не станут. Но ты знаешь, как бывает. Пойдут слухи.

– Может, нам с раввином посоветоваться? – робко предложила мама.

Снова повисла тишина.

За богобоязненностью родителей скрывался другой, вполне приземленный страх: больше всего они боялись, что их изгонят из ультраортодоксальной общины, принявшей их двадцатью годами раньше, когда они избрали религиозную жизнь. Несмотря на неодобрение обеих семей, отец начал читать Тору с сыном брайтонского раввина, а мама – с его женой. Потом родился я, а после меня не родилось уже никого – к большому стыду моих родителей и огромному разочарованию общины, где в семьях было в среднем по восемь детей и десятки внуков.

Так что в глазах родителей мои снимки были не только грехом: они равнялись социальному самоубийству. С каждой секундой их разочарование во мне росло, а моя вера в нашу общину, где я родился и вырос, таяла, что, впрочем, не вызывало у меня никаких сожалений.

Как ожидалось, отец обрушил на меня всю свою ярость, а мама – все слезы.

В конце концов мне разрешили сдать экзамены в пустом кабинете подальше от одноклассников – те даже не видели,

как я вошел в здание. Я закончил первый год старшей школы и встретил лето, не имея ни малейшего понятия, где окажусь в сентябре. Родители тем временем решили отправить меня к психологу.

Порог кабинета Нора Оппенгеймер на четвертом этаже добротного кирпичного здания в Кембридже я переступил, теряясь в догадках, что меня ждет. Светлая комната средних размеров. А сама Нора Оппенгеймер выглядела довольно молодо, хотя на ее лице лежал отпечаток равнодушия, словно она уже сдалась. Кольца на руке не было – значит, не замужем. Она была не из общины, но родители решили, что раз она еврейка, значит, сможет разобраться в моем образе жизни и потребностях. Я оставил дверь открытой, но Нора тут же попросила ее закрыть.

– Лучше не надо, – возразил я. – *Ихуд*. Мужчина и женщина не должны оставаться наедине.

Нора Оппенгеймер раскрыла рот, словно хотела что-то сказать, но передумала. Прямо как рыба, подумал я. Зато с декольте: грудь, конечно, в нем не видно, но для недозволенных мыслей – зеленый свет.

– Понимаю, – сказала она наконец, хоть я и видел, что ничего она не поняла. – Ну что ж, с чего начнем?

– С чего хотите, – с вежливой улыбкой ответил я. Решил играть роль милого мальчика.

– Родители за тебя беспокоятся, Эзра. Какой-то твой поступок их очень... удивил, скажем так. Как тебе кажется, что

их тревожит?

– Я фотографировал Малку Портман в мужском туалете. Я увлекаюсь фотографией и подумал, что эти снимки пригодятся для портфолио. Но общине они не понравились.

– Если не ошибаюсь, в твоей общине не разрешается фотографировать женщин. Почему же ты это сделал?

Я пожал плечами.

– Ругать будете? – резко спросил я.

– Что ты, Эзра. Я здесь не для этого. Мне просто нужно понять, что толкнуло тебя на такой поступок. Чего ты хотел им добиться? Всех рассердить? Привлечь к себе внимание?

Я решил, что она идиотка, зато юбка у нее чуть задралась, обнажив несколько сантиметров кожи выше колен. Усилием воли я отвел взгляд от ее ног и неуверенно проговорил:

– Я считаю, что женское тело очень красиво, и решил выразить свое восхищение таким образом. Вот и все. Что тут плохого? Я очень горжусь этими снимками. И горжусь каждой минутой, проведенной тогда в туалете. Не каждый уговорил бы Малку Портман позировать, а у меня получилось. А хотел бы я, чтобы меня хвалили, чтобы мной восхищались, а не обвиняли и уж тем более высмеивали.

Потянулись дни: долгие часы я просиживал над священными текстами в летнем лагере *Талмуд Тора**, после обеда сбегал к тете Сьюзи и регулярно посещал Нору Оппенгеймер.

Наши беседы были пустой тратой времени, но эта ее одеж-

да – откровенная, яркая, совсем не похожая на черные бесформенные платья матери, – открывала мне вход в Эдемский сад. По ночам я представлял обнаженное тело Норы – более зрелое, чем у Малки Портман, налитое, манящее. Подавляемые прежде жалкие фантазии о девочках из общины, теперь – безудержные и конкретные – перенеслись на моего психолога. И, словно этого было недостаточно, чтобы создать напряжение в ее кабинете и моих чреслах, Нора настаивала, чтобы я говорил о сексуальности. Я не очень хорошо представлял себе, что это, и вопросы Норы казались мне заманчивым приглашением исследовать эту прежде запретную сферу.

Было неловко, но я решил, что неплохо хоть с кем-то поговорить об этом. «Тебе же это пригодится? – спрашивал голос у меня внутри и тут же сам отвечал: – Пригодится».

Однажды я поинтересовался у нее:

– Почему вы от меня этого требуете?

– Чего требую, Эзра?

– Почему вы хотите, чтобы я говорил о... об этом?

Нора Оппенгеймер набрала воздуха и ответила:

– Я думаю, что запреты и табу, с которыми ты вырос в ультраортодоксальной общине, привели к серьезной фрустрации. А она, в свою очередь, побудила тебя сделать эти снимки. Эзра, я хочу, чтобы ты понял одно: сексуальность присуща человеку от природы, и нет ничего более естественного. Благодаря сексу люди и животные продолжают род. Он –

основа мироздания. А твои родители внушили тебе мысль, причем довольно спорную, будто секс – это зло.

Нора говорила страстно, чеканя каждое слово. «Зло» она произнесла с нажимом.

Я молчал.

– Эзра... Возможно, я буду первым и последним человеком, который скажет тебе нечто подобное. Но то, что ты сделал в том туалете, это... Это *прекрасно*. Твои снимки великолепны. Тебе есть чем гордиться.

Я спросил, правда ли она так думает. Нора мягко кивнула. Мы помолчали. И вдруг я выпалил, что был бы рад повторить съемку, а из нее вышла бы прекрасная модель. Она спросила, всегда ли я ношу с собой камеру. Теперь кивнул я.

Лето подошло к концу, и родители усадили меня в гостиной, чтобы поговорить о будущем. Первым делом они потребовали отдать им камеру. Я без колебаний согласился. У меня в ящике уже был припрятан новенький «Никон». Я купил его на деньги, предназначенные для психолога: теперь, когда наши сессии превратились в нечто иное, Нора отказывалась брать плату. Она учила меня, что желать – естественно, просить – нормально, а добиваться – значит побеждать, и победами надо гордиться.

Отец объявил, что он уже нашел для меня прекрасную семью в Монси и у меня две недели на подготовку к отъезду.

Они хотели от меня избавиться. Но такой поворот не застал меня врасплох.

Месяцем раньше тетя Сьюзи записала меня на тест SAT, на логику и уровень знаний. Он открывал двери в лучшие университеты. Не сомневаясь, что мой итоговый балл будет выше среднего, она оплатила мне репетитора, чтобы на экзамен я пришел во всеоружии. И я, в свои пятнадцать, набрал почти семьсот баллов и по математике, и по английскому. Миллионы выпускников блекли на моем фоне: они сдавали тест по четыре раза подряд, лишь бы выцарапать еще баллов пять для поступления хоть в какой-нибудь государственный университет.

Держа в руке конверт с результатами теста, я забрался в тетин серебристый фургончик, и мы поехали на встречу с директором «Нахманид Хай Скул».

Я был наслышан об этой школе, но никогда в ней не бывал. Находилась она в самом сердце Бруклина, между Брайтоном и Бостоном. Еврейская ортодоксальная школа, но с современным уклоном. Говорили – точнее, перешептывались, – что тамошние парни и девчонки даже священные тексты изучают вместе. Я даже представить не мог, как они ходят по одним школьным коридорам. Или, что еще невообразимее, едят за одним столом, или сидят в библиотеке и вместе готовятся к экзаменам.

Я робко вошел в холл, следуя за тетей Сьюзи как собачка. Оказалось, что директор – женщина, миссис Розенталь. Я был потрясен.

– Ты из «Ешива Хай Скул», верно? – спросила она, пока

мы устраивались за письменным столом. Волосы короткие и темные, голова не покрыта. Неужели она не замужем?

– Да, – только и ответил я.

– Эзра *очень* одаренный мальчик, – заговорила тетя Сьюзи. – Мне кажется, «Ешива Хай Скул» ему не подходит. У вашей школы безупречная репутация, а Эзра был бы ее образцовым учеником.

– А почему ваш сын решил уйти из своей школы? – спросила директор, глядя на меня сквозь странные очки в красной оправе. Наверное, рассматривала мою черную шляпу.

Тетя Сьюзи тут же ответила:

– По правде сказать, я его тетя. Родители не смогли сегодня приехать, так что Эзру привезла я... Как я уже сказала, «Ешива Хай Скул» для него не подходит. Вот, посмотрите, – добавила она и принялась рыться в сумке.

Кабинет был хорошо обставлен, на стенах висели фотографии учеников. У мальчиков на голове кипы*, у девочек юбки ниже колен, но одежда нормальная, разноцветная. При виде пестрых рубашек ребят, из-под которых свисали цецит*, я разинул рот. Школа Нахманида, о которой у нас отзывались с презрением, которую считали обителью порока, где девочки в легкомысленных платьях изучают Гемару*, становилась для меня маяком надежды.

Тетя Сьюзи отыскала конверт с результатами теста и протянула его миссис Розенталь. Та сняла красные очки и надела другие, кислотно-зеленые, для чтения.

– Не понимаю, – сказала она, бегло взглянув на бумаги. – У нас тут школа, а не университет. Вам не надо было сдавать этот тест.

– А вы посмотрите повнимательней, – предложила тетя Сьюзи.

Миссис Розенталь присмотрелась. Затем подняла на меня обескураженный взгляд и снова уставилась на результаты теста.

Отец закончил говорить о своих планах, и я решил, что самое время сообщить ему и о моих. Я объявил, что меня приняли в школу Нахманида и дали стипендию, которая покрывает всю стоимость обучения, то есть двадцать пять тысяч долларов в год. Пусть в нашей общине и не одобряют, что она открыта современным веяниям, но это одно из самых престижных учебных заведений города, пояснил я. Каждый год его выпускники поступают в Гарвард и Пенсильванский университет.

Родители окаменели. Обменявшись встревоженными взглядами, они сказали, что я сошел с ума и что они никогда не позволят мне учиться в этой обители порока – я поеду в Монси, где меня ждут прекрасная набожная семья и место в одной из лучших ультраортодоксальных школ Америки.

Я был непоколебим. Показал родителям результаты теста. Хоть они и вели очень закрытую жизнь, но родились-то не в общине и хорошо знали, что означает такой высокий балл, а означал он престижные университеты и стипендии.

Мне вдруг показалось, что это я – ответственный взрослый, который должен убедить неразумных детей сделать что-то для их же блага.

А потом я сказал вот что:

– Бог не дал вам еще одного ребенка, это правда. Но тот сын, которого он вам дал, оказался умен. И любая «Ешива Хай Скул» Брайтона, Монси или Бруклина – для него пустая трата времени.

На следующий день я вышел на станции «Бруклин Хилс», второй раз в жизни вошел в холл школы Нахманида и подал документы на будущий учебный год. И отец, и мама их подписали. Я победил, и отныне моим родителям предстояло жить в общине, которая никогда не одобрит поворот, какой приняли дела в доме Крамеров.

2

Мать с отцом искали опору в жизни

и на последнем курсе Университета Брендэйса решили обратиться к иудаизму. Познакомились они в доме любавичского* раввина из Уолтема, где встречали каждый шабат*. На закате они покидали кампус, перебежали рельсы, ведущие к Бостон-Норт-Стейшн, и входили в дом раввина, где ужинали с десятками других студентов. Я не знаю, что именно подвигло их задуматься о религиозном образе жизни. Возможно, ортодоксальные правила, предписывающие, как вести себя и с людьми, и с Богом, сулили более безопасное, отлаженное, наполненное смыслом существование. А может, все дело было в чувстве причастности к чему-то важному, которое они испытывали всякий раз, переступая порог дома раввина. Может, именно оно и привело их к обращению, стремительному и непреклонному.

После университета родители переехали в Бостон и решили готовиться к свадьбе под руководством ультраортодоксального раввина из Брайтона, где собирались поселиться, как только поженятся.

Процесс вхождения в общину затянулся на несколько лет. Столь желанный первенец все не появлялся, мамыны юбки

становились все длиннее, а отец как-то раз, отправившись по работе на Манхэттен, сел в поезд до Бруклина и купил там свою первую черную шляпу. Они усердно посещали общинные мероприятия и сдружились с четой Фишеров, у которых уже было трое детей. Фишеры часто приглашали родителей к себе на субботнюю трапезу. В доме появилась уйма религиозных книг, и, подкопив денег, мать с отцом сразу же переделали кухню. Ее поделили на две части, для молочного и для мясного, в каждой из которых были свои раковина и посудомойка.

Когда они уже оставили надежду на появление ребенка, мама забеременела. Радость по поводу долгожданного младенца и гордость, что это будет мальчик, не знали границ. Община, которая обычно приветствовала очередного новорожденного дежурным «Мазл тов!»*, окружила их любовью. И я, малыш Эзра, никого не разочаровал. Все влюблились в мое круглое личико, темные кудряшки и любопытные глазенки.

Шестнадцать лет спустя мои родители оставались все такими же гордыми членами ультраортодоксальной общины – невзирая на все, что творил я. К их облегчению, девять часов в день я проводил в школе Нахманида. Я больше не хотел сбежать из дома, а мама с отцом смирились даже с моей новой одеждой: черную шляпу и пиджак, который раньше носил даже летом, я больше не надевал.

Раввин нашей общины умер в девяносто лет, совершенно

выжив из ума и оставив после себя двух сыновей, четырех дочерей, двадцать восемь внуков и сорок пять правнуков. Его место, вопреки возражениям, занял старший сын. Многим казалось, что ему не хватает отцовской солидности. Но его это не смутило, и в итоге он оказался очень достойным человеком. Из-за его решений по некоторым, впрочем незначительным, вопросам он снискал славу либерала, и наиболее консервативно настроенные семьи глядели на нового раввина с недоверием. Отсидев шиву по отцу, он поразил всех, поддержав решение Совета американских раввинов сделать обязательным заключение добрачного договора вдобавок к традиционной ктубе*.

Добрачный договор призван был разрешить один из наиболее сложных для общины вопросов: о мужчинах, не дающих женам развода. О женщинах, ставших заложницами опостылевшего брака и не имеющих возможности заключить новый. Религиозный закон в таких случаях оказывался бессилён, и Совет американских раввинов решил ввести в обиход юридический документ, обязывающий мужей при согласии религиозного суда давать женам развод.

Так вот, раввин Хирш собирался требовать от всех пар нашей общины, собирающихся вступить в брак, чтобы они подписывали этот добрачный договор у нотариуса. Большинство почувствовало себя оскорбленным – такой договор будто подразумевал, что одного еврейского закона недостаточно и его надо подтверждать законом государственным. Но ма-

ма, хоть никому этого не говорила, очень впечатлилась решением раввина и однажды за ужином, когда двери нашего дома были закрыты и слышать ее могли только мы с отцом, заявила, что одобряет его. Отец ответил выражением, показавшимся мне грубым и неуместным.

Вечер пятницы: перемирие.

Вернувшись из школы с высшим баллом по тригонометрии, я ни словом не обмолвился о нем родителям. Я так устал и так радовался наступлению шабата, что даже не слишком расстраивался, что моя оценка их не впечатлит. Мама пекла халу*, смазанную яичным желтком, рулет с индейкой и яблочный штрудель. Она готовила их каждую неделю. Мы с папой обожали эти блюда.

Мы с отцом собрались в синагогу в двух кварталах от дома, мама пожелала нам *гут шабес*, хорошей субботы.

Помолившись, мы простились с мужчинами нашей общины и пошли домой в темноте, не нарушая привычного молчания. Проехала машина, из которой неслась дискотечная песня, которая играла на мобильном одного из моих одноклассников. Дома я бы ни за что не осмелился слушать такое.

Произнеся над халой благословение, отец сообщил: в синагоге Биньямин Фишер сказал, что миссис Тауб увезли в больницу.

– А что с ней? – спросил я и, не получив ответа, добавил: – Мам?

– Плохи ее дела, – только и сказала она.

Плохи ее дела... Наверное, рак.

– Она умирает? – не унимался я. Специально, чтобы позлить. Я сверлил их глазами, пока они не подняли головы от тарелок, обменявшись встревоженным, как всегда, взглядом.

– Эзра! – запоздало воскликнула мама.

– Я просто спросил. Хотел узнать, насколько это серьезно.

Заговорил отец:

– Судя по всему, очень серьезно, но, если будет на то Божья воля, она поправится. Нам остается только молиться за нее и ее несчастную семью.

Над столом повисла напряженная тишина. Мама молилась, папа принялся за рулет, а я задумался о семействе Тауб, одном из наиболее религиозных в общине. Мистер Тауб просиживал дни пролет в синагоге за священными текстами, а его жена помогала в еврейском детском саду. «Сколько у них детей? Шесть, семь, восемь? Все сопливые, в грязной одежде – матери некогда, она вытирает носы чужим детям, а отец портит глаза чтением», – мелькнула у меня злая мысль.

– Сразу после шабата позвоню Лее Фишер узнать, как мы поступим с готовкой для семьи Эстер, – сказала мама.

– Да, Биньямин что-то такое говорил. И еще надо решить, как быть с детьми.

Неся грязные тарелки на кухню, я глянул в окно. Пошел снег. Пригодится мне это? Пригодится, подумал я. Мне очень хотелось сделать несколько снимков Брайтона, заме-

тенного снегом. В субботу вечером, около шести, как только закончился шабат, я обернул вокруг шеи широкий васильково-синий шарф – единственный яркий предмет в моем гардеробе – и выбежал на улицу, не удосужившись даже закрыть за собой дверь. Город погрузился в тишину, в мнимое спокойствие, приправленное толикой тоски, а я, со всей жаждой жизни, так долго дремавшей в ожидании возможности вырваться наружу и открывать мир, я устремился вперед, по темным пустынным улицам, с «Никоном», спрятанным под пальто.

Без четверти семь я фотографировал сосну с прогнувшимися под толстым слоем снега ветвями. Рядом со мной вырос чей-то темный силуэт.

– Эзра? – окликнули меня. Я не сразу узнал раввина Хирша.

– Шалом*, – поздоровался я и пожал ему руку.

– Приятно видеть, что ты не отказался от увлечения фотографией, – сказал он. Эти слова меня удивили. Равнин-то наверняка отлично знал, почему я перестал ходить в «Ешива Хай Скул». – Запечатлеть удивительный мир, дарованный нам Богом, – достойное занятие.

Эта фраза мне понравилась. Я даже подумал, что раввин может оказаться моим другом и союзником.

– Спасибо, рабби, – ответил я, стараясь прикрутить дерзкий тон, которым привык говорить с родителями, и спросил из любопытства, куда он идет.

– Домой. Ходил в больницу, навестить миссис Тауб, – в его голосе слышалась глубокая грусть. Мне захотелось хоть как-то утешить его, но я не знал, что сказать.

– Ей очень плохо?

Раввин, стоя в холодной тьме, яростно закивал.

– Не буду отвлекать тебя от съемки.

– Да я уже, наверное, тоже домой пойду.

– Многое в мире нельзя постичь умом, – проговорил раввин, прежде чем уйти. – Но у Бога есть план.

По дороге домой я задумался, способна ли моя камера этот план запечатлеть, – у меня-то самого это никак не получалось.

Я устроился меж двух миров – между общиной и школой. Одноклассники в школе Нахманида не задавали мне лишних вопросов. Они знали, откуда я, и догадывались: раз я не учусь в своей общине, значит, что-то пошло не так. Я ни с кем не сдружился и нередко чувствовал себя не в своей тарелке. Я был не таким, как они, а они – не такими, как я.

Ученики носили современную модную одежду, но следовали определенным правилам (юбка до колена и длинные рукава для девочек, рубашка и никаких джинсов – для мальчиков). Классы были смешанные, но при учителях никто из парней и девчонок и помыслить не мог прикоснуться друг к другу. Светские предметы преподавались лучше, чем в «Ешива Хай Скул», а религиозные – хуже. По утрам нас собирали в школьной синагоге на молитву – единствен-

ное отличие от прежней школы здесь заключалось в том, что по ту сторону мексицы были девочки.

Постепенно я начал знакомиться с другими ребятами. Они подходили с вопросами, которые мне казались неуместными и злыми.

– А правда, что у тебя в общине женщин держат взаперти? – спросил меня как-то раз парень по имени Адам.

– Нет, – ответил я и отошел.

Это была неправда. Женщин у нас никто взаперти не держал. Они много чем занимались и нередко участвовали в жизни общины и имели в ней куда больший вес, чем их супруги. Во многих семьях именно женщины приносили в дом деньги, пока мужа проводили дни за чтением. Именно женщины принимали самые важные решения, управлялись с домашними делами и управляли жизнью семьи. Возможно, извне они могли показаться благонаправными, слабыми и бессловесными, но в том Брайтоне, где родился я, мне бы и в голову не пришло описывать ультраортодоксальных женщин такими словами.

Двумя часами позже, во время обеда, Адам подошел ко мне и извинился.

– Прости, не хотел тебя обидеть.

– Ты и не обидел, – отрезал я.

– Обидел. Я плохо выразился. Не надо было говорить «взаперти». Я имел в виду... ну, что они мало что решают насчет своего будущего, с детства знают, что выйдут замуж и

будут рожать детей, и ничего другого их не ждет, – по глазам Адама было видно, что он опасается, как бы я снова от него не отошел.

– А что, разве мужчины-харедим* что-то решают? – спросил я. – Они, насколько мне известно, тоже с детства знают, что женятся и будут рожать детей, и ничего другого их не ждет.

Адам не нашелся что ответить.

Вечером, лежа в кровати, я обдумывал слова Адама. Я заставил его замолчать и был этим доволен, но меня не покидала мысль, что сказанное им – отчасти правда. В мире, где я жил, женщины были такими же узницами, как и мужчины. Но их роль в религиозной жизни была совершенно второстепенна: им не дозволялось изучать священные тексты, участвовать в обрядах и службах в синагоге – лишь наблюдать за ними из-за мехицы. Возможно, именно это Адам имел в виду, говоря, что женщин у нас держат взаперти?

Я лежал, погружившись в мысли, и тут кто-то сбежал по лестнице. Наверное, отец. Снизу послышались голоса. Говорил отец – вероятно, по телефону. Дверь родительской спальни открылась, вышла мама. Я тихонько приоткрыл свою дверь и прислушался.

– Мы уже выходим, – сказал отец в трубку. – Будем через пять минут.

Я взглянул на часы – без четверти двенадцать, – распахнул дверь и спустился. Мама надевала пальто и туфли, а отец был

уже полностью готов.

– Вы куда? – спросил я.

– Эзра, – мама выглядела растерянной, – миссис Тауб умерла.

– *Барух даян А-Эмет**, – прошептал я.

Родители отправились к Таубам – там, насколько я понял, уже шли приготовления к похоронам.

Я сел на диван, испытывая облегчение от того, что мне не нужно идти с ними. Я не хотел ничего видеть, не хотел ничего знать. Не хотел чувствовать себя обязанным размышлять о произошедшем.

Но десять минут спустя я передумал – решил, что лучше все же пойти. Я не мог даже представить, как возвращаюсь в свою комнату и засыпаю – вот так, в одиночестве, за полночь. Перед глазами стояла жуткая картина – мертвая миссис Тауб на больничной койке. Я все думал о ее детях, у которых отныне не будет матери, и от этих мыслей становилось очень тревожно.

Они больше никогда с ней не поговорят.

Больше никогда ее не поцелуют.

Больше никогда не будут есть то, что она приготовила. А может, у них осталось что-нибудь в морозилке, и они так и будут держать эту еду там, потому что слишком страшно съесть последнее осязаемое доказательство того, что когда-то у них была мать. Я уснул на диване, прежде чем страшные мысли не завели меня еще дальше.

– Эстер Тауб была прекрасной женщиной. Она родилась в Брайтоне, в Брайтоне вышла замуж и в Брайтоне умерла. Она была одной из самых преданных и светлых душ нашей общины. В Эстер каждый находил опору. Рождался ребенок – и она первой приносила в дом новорожденного поднос, полный риса, курицы и картофеля, чтобы семья могла нормально питаться, пока мать поправляется. Заболевал старик – и она первой находила время его навестить, а при необходимости брала с собой и детей, будь они благословенны. Эстер ничему не учила словами. Она учила поступками, скромно подавая пример всем женщинам общины. В точности как в библейской истории об Эсфири, царице Персии, наша Эстер до последнего оставалась образцом силы для еврейского народа, сохраняла верность общине и преданность семье, даже когда болезнь начала подтачивать ее силы. Мы вспоминаем Эстер с улыбкой. Ожидая пришествия Мессии и новой встречи с Эстер, мы будем вспоминать ее как источник благословения, сделавший наше настоящее лучше, а наше будущее – надежнее. Аминь.

– Аминь, – хором отозвались все.

Рядом с раввином Хиршем, закончившим речь, стоял мистер Тауб – печальный скелет с темными кругами под глазами. Рядом с ним выстроились заплаканные дети. Я пересчитал, их было семеро. Шмуэль, Карми, Нехама, Тувия, Аяла, Шейна и малышка Ривка – ей, наверное, еще и двух не исполнилось.

Когда все потянулись с кладбища, ко мне подошел Дани, сын Биньямина Фишера. Он жил в Бруклине, и у него недавно родился второй ребенок.

– Как дела, Эзра?

– Спасибо, хорошо.

– Мы с женой часто тебя вспоминаем, глядя на фотографии. Я тебе очень благодарен.

– Да не за что.

Вместе мы двинулись к выходу. Дани мне никогда не нравился, но сейчас, судя по всему, ему хотелось со мной пообщаться.

– Давненько я тебя не видел.

– Ну ты же в Бруклине живешь, – я уже начинал терять терпение.

– Да, правда. А ты, если я не ошибаюсь, больше не ходишь в нашу школу?

Ага. Вот оно что. Теперь я понял, к чему он клонит. Я поглядел на него искоса, надеясь, что мое послание окажется достаточно ясным: «Я не хочу говорить об этом ни с кем, а с тобой и подавно». Но Дани Фишера это не смутило.

– Ну и как тебе в той... той школе?

– Ты имеешь в виду «Нахманид Хай Скул»? – отчеканил я. – Прекрасно, спасибо.

– А она очень, как бы это сказать... *либеральная*?

– Не очень понимаю, что ты имеешь в виду под «либеральной».

Дани глубоко вздохнул. У меня появилась надежда, что на этом разговор закончится.

– Какое несчастье, – сказал он, имея в виду миссис Тауб. – Какое несчастье!

Я лишь кивнул в ответ.

– Подобные трагедии напоминают нам, что в мире ничто не вечно. И каждый должен делать все, что в его силах, особенно для своих родителей: ведь сейчас они с тобой, а потом – раз – и их не стало.

Я резко остановился. «Подобные трагедии напоминают нам, что если уж открывать рот, то не для того, чтобы нести всякую чушь», – подумал я, но промолчал. Я снова ограничился кивком и отошел, kloкоча от мне самому непонятного гнева.

Весь этот разговор был затеян только для того, чтобы объяснить мне: надо лучше вести себя с родителями, ведь они могут умереть, как миссис Тауб, и тогда уже ничего не исправишь. Возможно, этого Дани подослал ко мне Биньямин Фишер, думал я, а того подговорил отец. Ну конечно, смерть несчастной женщины – отличный повод вправить мозги бестолковому подростку Эзре Крамеру, лучше не придумаешь! Придурки, думал я. Придурки, придурки, придурки. Меня так и тянуло взбунтоваться. Сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, настолько возмутительное, чтобы у них появился убедительный повод обращаться со мной как с малолетним преступником.

Я побежал к дому. Весь в поту, запыхавшийся, я сел на бордюры и подумал, что, возможно, не так уж и плохо умереть, как миссис Тауб. После меня даже семерых детей не останется, получится очень даже удачно. Это мне здорово помогло бы и избавило от кучи проблем: никаких тебе ссор с родителями, никаких сомнений, никаких решений – только безмолвная тьма, которая накроет и поглотит без остатка.

Следующая неделя оказалась тяжелой для всех. Я не мог отделаться от мыслей о рыдающем Шмуэле Таубе, мама лила слезы, а отец, неспособный сказать словами, что любит нас, замкнулся в тревожном молчании и выдал весь свой набор кислых мин. Он никогда не умел выражать свои чувства и в подобных ситуациях проявлял себя хуже некуда.

Хоть мы никогда тесно не общались с Таубами, смерть Эстер всех нас трюхнула. Таубы были одной из самых консервативных семей в общине и всегда поглядывали на моих родителей с подозрением, будто мечтавая подловить их на первом же неверном шаге. Вера моих родителей вызывала у них сомнения – только потому, что те родились и выросли вдали от религии.

Для меня такое отсутствие уважения оставалось загадкой. Сделаться ортодоксами и отвергнуть жизнь без запретов – смелее поступка, на мой взгляд, и быть не могло. Сомневаться в тех, кто решил на подобное – верх нелепости.

Как-то вечером зашла миссис Фишер – хотела отдать складные стулья, одолженные у нас для субботней трапезы,

на которую приехали родственники из Нью-Йорка.

– Аяла Тауб сейчас у нас, – объявила миссис Фишер.

– Ах, бедняжка, – тут же отозвалась мама. – Как она?

– Умничка, просто солнышко, благослови ее Господь. Ни слова не говорит. Я предложила, пусть поживет у нас, пока отец не оправится от горя.

– Мы тоже можем взять кого-нибудь из детей. Места у нас немного, но поможем с радостью.

– Знаю-знаю, сейчас пока решают, как все устроить. Уверена, что при необходимости к вам тоже обратятся.

Когда миссис Фишер ушла, мама повернулась к отцу и спросила:

– Как ты думаешь, почему к нам пока никто не обратился? – и, не получив ответа, продолжила: – Может, завтра, как увидишь раввина Хирша, скажешь ему, что мы тоже хотим помочь?

Но раввин Хирш лишь повторил слова миссис Фишер – если будет нужно, нас попросят. И тогда родители перестали об этом думать, вернувшись к повседневным делам и заботам.

В школе я теперь садился рядом с Адамом Саксом.

Со временем мы стали говорить обо всем, и я отвечал на вопросы, которые раньше считал злыми и неуместными.

Адам был намного выше меня, с гладкими черными волосами, почти всегда одевался в белые футболки и умом не отличался. Я не понимал, как он попал на продвинутый уро-

вень по тригонометрии. Мне частенько приходилось объяснять ему задачи после того, как учитель очень подробно разжевывал их в классе.

До меня начинало доходить, насколько важно и полезно иметь в школе друга. Кого-то, кто прикроет тебя в случае прогула, к кому можно подсесть за обедом, с кем можно поболтать, когда скучно. Некоторое время я наблюдал за Адамом, увидел, что он спокойный и общительный, но друзей у него маловато, и задумался: пригодится ли он мне? Решил, что пригодится. И мы начали считать, что дружим, хоть я и нередко выходил из себя из-за его предсказуемости и легковёрности. Но он был хорошим парнем – добрым, любознательным и довольно замкнутым. Но самое главное – ему было без разницы, как я одеваюсь. Отношения его родителей разладились, когда Адам с сестрой еще ходили в среднюю школу. Развод доставил бы им уйму проблем – денег у обоих было хоть отбавляй, и, обратись они к адвокату, дело бы сильно усложнилось. Поэтому родители Адама решили вести себя как взрослые: переждать, остыть и вместо того, чтобы разводиться, по-прежнему жили под одной крышей, не испытывая друг к другу никаких чувств.

Как-то утром Адам подошел ко мне, пока я вытаскивал учебник из своего шкафчика, и спросил:

– На барбекю к Элише Кацу идешь?

– Какое еще барбекю? – ответил я.

– То, которое он устраивает сегодня днем. Ты не идешь,

что ли?

– Меня не звали.

Адам сделал рот буквой «о» и посмотрел на меня грустно и смущенно. Он даже не стал говорить, что это наверняка какая-то ошибка. Ясно было, что Элиша Кац не пригласил меня нарочно. Его отталкивала моя принадлежность к ультраортодоксальной общине.

– Мне очень жаль, – только и сказал Адам.

– Да не страшно. В любом случае родители вряд ли разрешили бы мне там есть.

Я хотел было выругаться, но внезапно понял, что вообще-то мне совершенно все равно – с теми ребятами мне делать нечего. Лучше сидеть дома одному, чем убивать день в попытках вписаться в компанию, в которой мне по определению нет места. Расстроило меня не то, что меня не позвали, а искреннее огорчение на лице Адама.

– Если хочешь, можем вместе что-нибудь поделать, – сказал он наконец.

Так мы впервые пошли куда-то после школы. Адам привел меня в свой дом в Бруклине – он стоял прямо за школой. Мобильного у меня не было, и родителей предупредить я не мог, но решил, что они как-нибудь переживут.

В гостиной у Адама висел огромный плазменный телевизор. Я спросил, что смотрят у них в семье.

– Телик мы включаем, когда готовим ужин. Иногда смотрим новости, иногда – какие-нибудь старые сериалы типа

«Что сказал Джим» или «Друзей». Родители не хотят, чтобы мы смотрели MTV и всякое такое – говорят, передачи там больно откровенные.

– А что такое MTV?

– Прикалываешься? Серьезно, ты не знаешь, что такое MTV?

– У меня дома нет телевизора.

Адам присвистнул, чтобы выразить свое глубочайшее потрясение, – в свисте прозвучало нечто вроде «Я знал, что вы чокнутые, но не до такой же степени». Он попытался рассказать мне о разных передачах: «Тачку на прокачку», «Молокососах», документалках «Нэшнл Джоиграфик» и «Пляже» – такое реалити-шоу, где италоамериканцы проводят лето в Нью-Джерси, а по вечерам ходят в клуб. «Пляж» он смотрел, только когда родителей не было дома. Мне подумалось, что я-то нашел бы себе занятие получше, чем пялиться на компанию придурков, таскающихся по дискотекам.

– Знаешь, вот у этого прозвище – Ситуация, – сказал он и протянул мне айфон, чтобы показать фото какого-то загорелого бритого наголо придурка. Внезапно я понял, как часто Адам говорит «знаешь» и как меня эта его привычка бесит. Захотелось ответить: «Нет, не знаю».

– Знаешь, он на эпиляцию ходит и в солярий, но не гей. Прикольно.

– Не гей? – повторил я, вопросительно глядя на Адама.

– Ну, знаешь, обычно же геи на все эти процедуры хо-

дят, но... – Адам резко умолк. – Ты же знаешь, что это слово вообще значит? – Я молчал, так что он снова присвистнул. – Обалдеть, только не говори, что и об этом впервые слышишь!

– Ну, я слышал это слово в школе, но не знаю точно... – с досадой начал я и не договорил.

Переменяя свою речь многочисленными «знаешь», Адам объяснил, что геями называют людей, которых влечет к людям своего пола. То есть такие мужчины влюбляются в мужчин, а женщины – в женщин. Я вдруг вспомнил, как, прижавшись ухом к двери, подслушивал родительский разговор: какого-то раввина, преподававшего в ешиве*, прогнали за то, что он заставлял мальчиков заниматься вместе с ним чем-то запретным.

Теперь же, сидя у Адама в гостиной, я с удивлением осознавал, что он говорит о любви, – меня-то приучали считать все такое сексуальными извращениями, мерзостью, стремлением к неправильному и недозволенному. Адам же говорил, что эти люди влюбляются, хотят жениться и заводить семью.

– У нас в общине о подобных вещах особо не говорят, но не то чтобы это тайна. Наш раввин однажды даже лекцию провел про гомосексуальность в иудаизме, – сказал он. – А вот у вас эта тема, наверное, табу.

– Думаю, этим-то наши общины и отличаются, – ответил я. – Вы, даже если вам не нравится, куда движется общество, говорите об этом. Пытайтесь найти точки соприкосновения

с иудаизмом. Если подумать, в этом есть какое-то противоречие. А у нас, если религия чего-то не допускает, то и рассуждать не о чем, и все тут. А то, что современное общество такие вещи принимает, еще не значит, что с моральной точки зрения это правильно.

– Знаешь, а по-моему, противоречие в другом. Нравится вам это или нет, но мы живем в этом мире. Мы не можем прятать голову в песок и делать вид, что там, за пределами общины, ничего не меняется.

Впервые Адам высказал то, что думал. Это было грубо, но что-то высвободило и в нем, и во мне. Возможно, за всеми его «знаешь» скрывался нормальный ум.

А вот я не ответил, потому что не знал, что сказать. Впервые я очутился на другой стороне спора – той, которая защищает, а не той, которая нападает. Мне казалось бредом оправдывать образ жизни, который я всегда презирал. Я вдруг понял, что, наверное, и вправду со стороны выгляжу странно: критикую свою общину, но продолжаю цепляться за то, чему меня учили с самого детства. Я подумал, что мне никогда не хватит смелости покинуть общину – она была у меня в крови. Уйти – все равно что перерезать вены одну за другой и умереть обескровленным.

Меня выгнали из «Ешива Хай Скул», но я продолжал одеваться как ультраортодокс. Одноклассники сбрасывали первые волоски на щеках и подбородке, я же их отращивал – длинные, редкие, отвратительные. Я всей душой их ненавидел, но

ни за что не осмелился бы от них избавиться. Отцу-то моему повезло: он вырос во внешнем мире, и, прежде чем обзавестись бородой, пятнадцать лет брился каждый день, так что теперь растительность на его лице была густой и колючей.

Вечером я вернулся домой. Родители сидели у телефона, сами не свои от тревоги. Но звонка они ждали не от меня.

3

Ни для кого не было секретом,

что если мистеру Таубу и удавалось справляться с ролью главы семьи, то исключительно стараниями жены.

Всем быстро стало ясно, что теперь, когда мистер Тауб остался вдовцом с семьей детьми и без какой-либо работы, его лодка вот-вот пойдет ко дну. Кое-кого из детей сразу же распахали по семьям, но теперь надо было придумать, как защитить оставшихся детей от впавшего в депрессию отца, отца – от горюющих детей, и, наконец, как защитить мистера Тауба от самого себя.

Помощь предложил раввин Хирш, которого с тех пор, как он унаследовал это место, мистер Тауб сторонился, считая, что новый раввин чрезмерно склонен к новаторству и вообще чуть ли не либерален. Рабби Хирш пришел в дом Таубов и сказал, что пришло время принять решение.

– Я не справился, – по слухам, именно так ответил мистер Тауб между всхлипами. – Я обманул доверие Эстер.

– Эстер была бы счастлива знать, что дети в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Предложение раввина заключалось в том, чтобы отдать детей на попечение семей, имеющих возможность взять их к себе.

– И я перестану быть их отцом?

– Не перестанешь, конечно. Ты навсегда им останешься.

Но заботиться о детях – большая ответственность, и сейчас тебе с ней не справиться.

Словом «ответственность» прикрывали нежелание говорил вслух о том, что мистер Тауб после смерти жены начал пить – поначалу только по вечерам, а потом хоть в девять утра. Секретом это не было, но об этом не говорили. Говорили лишь о проблемах с деньгами и о том, что мистеру Таубу в одиночку со всеми детьми не управиться. Ну кто бы мог подумать! Прежде всем их потомством занималась одна жена. Пока он читал Тору, она рожала и растила без помощи мужа детей одного за другим, да еще и работала на полставки.

Так и получилось, что младшие дети перешли под законную опеку других семей. Предполагалось, что Аяла останется у Фишеров. Я слышал, как миссис Фишер втолковывает маме, что процесс ее передачи из одной семьи в другую по каким-то юридическим причинам происходит очень медленно. Раввин Хирш решил передавать детей опекунам по очереди, чтобы не подвергать вдовца удару одновременно.

Тут-то у моих родителей и появилась отвратительная привычка каждый раз, проходя мимо телефона, не сводили с него взгляда. Только через несколько недель до меня дошло, что они ждут звонка от раввина Хирша, или соцработника, или еще кого-нибудь, кто спросит, не хотят ли они принять на воспитание кого-нибудь из Таубов. Никто не звонил, но

родители от этого не стали смотреть на телефон реже. Какое там, они глядели на него еще чаще. Казалось, они упрекают его: ну что же ты молчишь? А когда телефон звонил, тут-то и разворачивалась самая настоящая драма, ведь это оказывался не раввин Хирш и не соцработник, а миссис Фишер, которой понадобился рецепт маминой халы, или какой-нибудь опрос про любимые передачи по телику («У нас нет телевизора. Нет, я над вами не издеваюсь. Всего доброго»).

Но, если подумать, кто подошел бы на роль опекунов лучше моих родителей? Я у них один, дом небольшой, но места для еще одного ребенка точно хватит. Денег немного, но достаточно, чтобы прокормить еще рот. Узнав, что Таубов раздают по семьям, я тоже начал ждать, что кто-нибудь из них вот-вот окажется у нас. Я еще не знал, нравится ли мне такое положение дел, но рассматривал его как нечто неотвратимое, а не как один из вариантов развития событий.

Отец несколько раз напоминал раввину Хиршу – сначала намеками, потом прямым текстом, а потом уже просто постоянно повторял, – что мы готовы взять одного из Таубов и воспитывать его как своего. Раввин Хирш улыбался, благодарил, но не давал родителям никакой надежды, что их предложение примут.

А вот я быстро перестал об этом думать. Мне было чем себя занять: школа, дружба с Адамом, фотография и изучение священных текстов в синагоге по воскресеньям. Занятия помогали избегать ссор с родителями, отвлекали от неудоб-

ных вопросов самому себе и сомнений в религиозных практиках моей общины, столь отличных от тех, что я каждый день видел в школе Нахманида. У меня зарождалось желание примкнуть к более современному течению иудаизма, но я не осмеливался заговорить об этом в родительском доме.

Как-то вечером, после дня, проведенного с Адамом, я обнаружил, что дверь родительской спальни закрыта. Я встал вплотную и прислушался к разговору.

– Говорят, он совсем голову потерял, пьет целыми днями, – говорил отец. – Но по семьям пристроили только трех младших детей. Не понимаю, чего они ждут.

– Как думаешь, почему они не принимают нашу помощь? – спросила мама.

– У меня нехорошее предчувствие. Может, я додумываю, но как бы это не из-за нашего... нашего прошлого.

Последовало долгое молчание.

– Они столько лет нас знают! Не могут же они считать, что для нас все это не всерьез.

– Если подумать, они и приняли-то нас поначалу очень неохотно.

– Поначалу мы не всё понимали, но мы ведь еще только учились. А теперь мы часть общины. И принадлежим Брайтону, как всякая другая семья, – не больше и не меньше.

– Хотелось бы и мне так думать, но я все не пойму, может, они и правда не считают нас частью своего мира? Может, поэтому, когда нужна помощь, предпочитают обратиться не

к нам? Они не отдадут нам на воспитание своих детей.

– Я думаю, это просто вопрос времени и организации. Не будем делать поспешных выводов, – сказала мама.

Я заперся у себя, очень рассерженный. Можно подумать, печальная смерть Эстер Тауб – это проверка того, насколько ультраортодоксальные семьи Брайтона доверяют моим родителям. Маме с отцом никогда не получить одного из детей Таубов, думал я, засыпая у себя в кровати.

Иногда по утрам я вместо школы шел в Кембридж, где подолгу болтался, фотографируя студентов и преподавателей со всего света. В суতোлке многие даже не замечали, как я вторгаюсь в их жизнь; я пытался запечатлеть, как они несутся, сражаясь со временем, держа под мышкой кто толстую книгу по истории Греции и Рима, кто свод законов, и у каждого взгляд устремлен в будущее, такое близкое и далекое одновременно. А еще мне нравилось снимать студентов, которым как будто некуда было спешить. Они стояли себе и курили, прислонившись к ограде у газетного киоска, или болтали, лежа на газоне, счастливые, полные заблуждений молодости. Они тоже не обращали на меня внимания, слишком занятые тем, чтобы казаться непринужденными, или замороженные словами, так весело вылетающими изо рта, влюбленные в свои молодые голоса. Они не могли заметить тощего паренька-ультраортодокса, что увековечивал их с помощью «Никона».

А потом случилась Великая Неприятность.

Я, хоть и реже, но продолжал посещать кабинет Норы Оппенгеймер. Родители относились к нашим встречам одобрительно, потому что я им объяснил, что Нора учит меня подавлять сексуальные желания и следовать моральным ценностям, которым учат в синагоге. Еще никогда они так не радовались моим словам.

Нора Оппенгеймер, вообще говоря, была главным взрослым в моей подростковой жизни. Вопреки тому, во что упорно верили мои родители, она учила меня чему угодно, но только не подавлять сексуальные желания. А еще у меня в комнате были спрятаны почти две тысячи долларов. Нора Оппенгеймер отказывалась брать с меня плату, и то, что родители давали мне на психолога, я клал себе в карман. Но держать в доме накопленное становилось все опаснее. Случись маме их найти, она наверняка подумала бы что-нибудь ужасное: что я наркотиками торгую или, еще хуже, занимаюсь проституцией.

Нора дала мне задание составить список сексуальных фантазий: «Таких, что ты скорее бы умер, чем признался в них родителям». Ей хотелось чего-то «пикантного», «ужасно неприличного», чего-то, за что мне перед самим собой стыдно, как она выразилась. Я целых десять дней думал, что же тут написать. Мне не хотелось писать что-нибудь банальное – я боялся обмануть ожидания Норы, но и честным тоже хотелось быть, ведь я искренне верил, что эта ее антиподавляющая терапия оказывает на мою психику чудотворное

воздействие.

В конце концов я взялся за ручку и принялся писать.

Я почувствовал себя ничтожеством. Скучным и предсказуемым. Нора Оппенгеймер наверняка ждала от меня совершенно другого. Но я все же не стал рвать список, а заставил себя продолжить.

Раввин Хириш занимается с женой оральным сексом. Я увеличиваю снимок Малки Портман до размеров плаката и вешаю его у входа в синагогу. Я бросаюсь в пропасть с любимой женщиной, держась с ней за руки, чтобы погибнуть вместе голыми и счастливыми. Вот несколько примеров того, что я выудил из своего сознания и изложил на листе бумаги.

Он-то и стал сначала *историей о сексуальных фантазиях*, а потом *Великой Неприятностью*. Несколько недель я сгорал от стыда за то, что доверил бумаге столь личные вещи. Нора Оппенгеймер сказала, что тревожится, потому что видит у меня скрытую тягу к самоубийству. А потом мой список попал в руки, попадать в которые ему совсем не следовало.

Я вернулся из школы и вытащил из тайника пачку денег, чтобы добавить новые купюры. Список был у меня в руке. Раздумывая, спрятать ли его тоже или порвать на мелкие кусочки, я пошел на кухню – взять чего-нибудь попить из холодильника. В этот самый момент домой вернулась мама, и я бросился прятать деньги, которые оставил прямо на кровати. Апельсиновый сок я буквально зашвырнул обрат-

но в холодильник, а вместе с ним и листок с фантазиями, и через час он предстал пред изумленными мамиными очами, из которых тут же полились слезы. Она не произносила ни слова, сколько я ни повторял – ох и глупо же это было, почерк-то мой, – что все эти чудовищные непристойности писал не я, а мой одноклассник. Мама была настолько шокирована, что, видимо, даже не осмелилась рассказать обо всем отцу. Мысль, что я знаю слова вроде «мастурбировать» или «оральный секс», была ей невыносима.

Вот что она сказала наконец, снова со мной заговорив:

– Мы столько для тебя сделали. Мы собой пожертвовали ради тебя. Поступились многими нашими принципами. И как ты нам отплатил! Делаешь все, чтобы выставить на посмешище! Если подумать, ничего удивительного, что раввин Хирш не считает нас достойными воспитывать ребенка. Он просто понимает, что не следует отправлять одного из Таубов туда, где растет такой негодяй, как ты.

Мне впервые в жизни захотелось ее ударить, но я сдержался и не подал виду, спрятав чувства под ледяным выражением лица. Я ее понимал, но обвинять меня, что им ребенка не дают, – полный бред.

А потом я закричал:

– Так значит, все ваши проблемы из-за меня? И это я виноват, что вы никак кого-нибудь из Таубов не получите? Ждете ребенка, как награду, медаль за заслуги, как флаг, которым можно размахивать перед теми, кто вам не доверяет?

Мама не стала отвечать.

По поводу опеки по телефону так и не позвонили.

Зато однажды позвонили в дверь. За ней стоял промокший до нитки Карми Тауб с большим черным чемоданом, в котором лежали его немногочисленные пожитки. Вопросов ему задавать не стали. Мама, показывая Карми дом, как будто вмиг помолодела, и еще несколько месяцев я не видел ее плачущей. Разве мог я ее в чем-нибудь винить? Карми Таубу было четырнадцать, и у него, в отличие от тощего меня, были круглые красные щеки, огромные, черные как уголь, глаза и темные волосы. Он почти никогда не улыбался и постоянно молчал, но держался очень вежливо и общался с нами всеми очень деликатно, особенно учитывая его возраст. Думаю, для моих родителей, столько лет терпевших мои вспышки ярости и грубости, Карми с его прекрасными и печальными черными глазами оказался глотком свежего воздуха.

Карми был вторым ребенком Таубов и ходил в «Ешива Хай Скул», но истории моего отчисления не знал – тогда он учился еще в средней школе. Под его мягкостью скрывалась броня, под которой, в свою очередь, пряталась тоска по умершей матери. Я никогда не видел, чтобы он плакал по ней. Когда я смотрел на него, мне казалось, что глаза Карми полны мыслей, а голова – слез. Но одно слабое место у него все же было: он боялся темноты. Но страх ему же и помогал – он побуждал Карми вести себя так, чтобы по вечерам всем хотелось окружить его любовью и дружбой, поддержать

в желании поговорить, дать утешение в горе, что он держал в себе.

Мы все его полюбили – и отец, который наконец-то забыл о своей ужасной хандре и открыл для себя силу слов, и мама, которая, попроси ее Карми, готова была хоть босиком по снегу бегать. И я тоже его полюбил, глядя, как мои родители наконец стали еще чьими-то, и наслаждаясь тем, что их внимание больше не устремлено на меня. Но дело было не только в практической пользе: я искренне привязался к нему и хотел, чтобы ему у нас было хорошо. Его тепло и кротость поражали меня, пока он был с нами – с первого прекрасного дня и до последней страшной ночи.

Хотя Карми отвели отдельную комнату, он попросился ночевать со мной. Сказал, что скучает по братьям, но ни словом не обмолвился, что боится темноты. И я, у которого никогда не было братьев и который никогда не спал с кем-то в одной комнате, я с легкостью согласился, чем удивил самого себя, и был рад приютить его у себя, и с той самой первой ночи замороженно слушал во тьме его тихое, неровное дыхание.

– Что ты больше всего любишь и что больше всего ненавидишь? – спросил он меня как-то вечером, когда мы уже погасили свет.

Прежде чем ответить, я несколько секунд посмаковал эту новую возможность – в моей комнате звучал еще один голос, мы могли подружиться.

– Люблю фотографировать... А ненавижу лицемерие.

– Лицемерие?

– Да. Когда притворяются, скрывают лицо под маской, чтобы казаться кем-то другим или нравиться людям. Когда говорят то, чего не думают, или поступают вопреки нашим ценностям.

Даже в темноте я увидел, как блеснули темные глаза Карми.

– А ты что больше всего на свете любишь?

– Моих братьев и сестер, – ответил он не раздумывая.

– А ненавидишь?

Я тут же пожалел, что спросил – подумал, мой вопрос заставит его вспомнить о смерти матери. Но тут же нашел себе оправдание: в конце концов, эту игру Карми начал сам. Ответил он не сразу, но, когда заговорил, в его голосе совершенно не было того спокойствия, к которому я уже успел привыкнуть.

– Отца, – проговорил он. А потом, будто ответ показался ему недостаточно ясным, повторил. – Я ненавижу моего отца.

– Почему?

– Он плохой человек.

Мы надолго замолчали. А потом, когда глаза у меня уже слипались и я почти спал, Карми прошептал:

– Эзра, пообещай, что никогда не сделаешь мне зла, – и уснул.

Мистер Тауб долго не появлялся в обновленной семье Крамеров, и весь этот медовый месяц каждый из нас, и в первую очередь Карми, мечтал, чтобы так все и продолжалось. Вечерами мы подолгу разговаривали. Карми засыпал меня вопросами про школу Нахманида, ему хотелось знать во всех подробностях, насколько больше свободы у ее учеников по сравнению с теми, что ходят в школу в общине. Я пытался объяснить, что учеба в школе Нахманида еще не означает полного отсутствия правил. Иногда Карми выдавал всякие стереотипы, и я бесился. Он часто возвращался к тому, что девочки в моей школе носят юбки выше колена, – а по факту это недвусмысленное приглашение к сексу до свадьбы.

– Современная школа – еще не значит развратная! – в который раз завелся я. – Мы тут, в нашей ультраортодоксальной общине, считаем, что любое течение иудаизма, на котором нет ярлычка «харедим», идет настолько против правил, что от иудаизма там ничего и не остается. Я живу в ультраортодоксальном мире, но регулярно бываю и в современном. Так вот, это не две противоположности. Есть бесконечное количество промежуточных вариантов.

– Мой брат считает, что современные течения слишком охотно идут на компромиссы, – возразил Карми, явно не слишком уверенно. – Он говорит, что стоит отказаться от мехицы и цниута* – и до греха всего ничего.

– А я тебя заставлю поверить в обратное. Школа Нахмани-

да – отличное доказательство, что теория твоего брата трещит по швам.

Карми помолчал, а затем безмятежно проговорил:

– Думаю, если бы мне только удалось увидеть то, что видел ты, я бы сразу начал думать так же. Ты очень смелый, Эзра.

Впервые кто-то назвал меня смелым. Годы спустя, в Нью-Йорке, многие говорили мне то же самое, но это не вызывало у меня тех же чувств: я преисполнился гордостью и вдруг понял, что мои поступки могут не только служить на пользу мне и моему успеху, но и иметь большую важность, влиять на других.

Я увидел Карми в новом свете. Предложил ему прогулять школу и пойти в Финансовый квартал – понаблюдать за мной в деле. Он раздумывал целую вечность, но в конце концов принял приглашение и вместо «Ешива Хай Скул» сел вместе со мной на первый же поезд до города. Я заметил, как жадно он рассматривает других пассажиров, особенно мужчин – почти все они были в костюмах и ехали на работу. В последующие годы я вспоминал этот момент с улыбкой: двое старшеклассников, одетые как ультраортодоксы, в рубашках, сияющих белизной под черными пиджаками, с пейсами, спадающими на скулы, неловко топчутся в вагоне метро.

Небольшой финансовый квартал был наэлектризован так, что его энергия передалась и нам. Вдоль узеньких улочек, столь непохожих на беспорядочные улицы Нью-Йорка, высились огромные небоскребы, невозмутимо нависая над горо-

дом. Я фотографировал клерков, входящих в здания, и старался ухватить движение потока людей, передать это ощущение напора, исходившее от каждого из сотен тысяч шагов.

Ближе к полудню мне захотелось есть, и я предложил Карми заглянуть в кафе «Милк Стрит».

– У меня денег нет, – сказал он.

– Ничего, я тебя угощу.

– А у них еда кошерная?

– Да, у них сертификат кошерности бостонского раввина-та. Я уже ходил туда пару раз с одним другом из школы, – успокоил я Карми.

– Папа не признает бостонского раввината.

Я начинал терять терпение.

– А не ты ли говорил, что ненавидишь своего отца больше всех на свете?

– Говорил, но не могу же я...

– Чего ты не можешь? Кошерную еду есть? – перебил я его.

– Да нет же, просто, если меня здесь кто-нибудь увидит, будут неприятности.

– Никого из общины ты тут не встретишь, так что успокойся.

В итоге мы зашли в кошерный отдел ближайшего супермаркета и купили цельнозерновой хлеб и сливочный сыр. Устроились на скамейке в парке Бостон-Коммон и ели, глядя на белок, которые прискакали выпрашивать у нас крошки.

– Ты такой... независимый, – сказал Карми. – У тебя есть фотоаппарат, ты прогуливаешь школу, едешь куда хочешь, делаешь что душе угодно.

– Надо просто проявить немножко инициативы, и дело в шляпе, – с усмешкой ответил я.

– Нет. Мне кажется, у тебя родители совсем не такие, как у меня.

Я подумал, что он прав. Мои родители были настолько погружены в свою бессодержательную повседневность, что ничего вокруг не замечали. Каждый раз, когда я демонстрировал чрезмерную самостоятельность, они расстраивались, но ничего не предпринимали.

На соседнюю скамейку плюхнулись несколько старшеклассников. У них только закончились уроки, и они решили подкрепиться бутербродами перед тем, как отправиться на каток. На нас они косились с любопытством, и мы без колебаний ответили тем же. А затем одна из девочек взяла гитару и заиграла ужасно грустную кантри-песню. Слова в ней были такие: «*I can't breathe / Without you / But I have to*»³. На припеве все дружно затянули «*Breeeaaathe*», а потом умолкли. Дальше снова вступила девочка, а остальные начали подпевать. У них получалось так здорово, что мне плакать захотелось. Все это время Карми глядел на них как замороженный.

– А ты не скучаешь по жизни с братьями и сестрами? – спросил я.

³ «Я не могу дышать / Без тебя / Но приходится» (англ.).

– Ужасно скучаю. Но у тебя мне очень нравится. И я рад быть подальше от отца.

Вечером я услышал, как Карми в ванной напевает песню, которую мы слышали в парке. Я как раз просматривал снимки оттуда и улыбнулся, потому что понял, что день свободы, который я подарил себе, порадовал и Карми.

Мистер Тауб объявился незадолго до Песаха*, сообщив, что на пасхальный седер* хочет собрать всех своих детей у себя. Родителям это показалось естественным. Они сказали, что так и думали: конечно же, мистер Тауб захочет отпраздновать Песах с детьми. Но вот только Карми ничего такого не хотел.

– Я лучше с вами останусь, – сказал он моим родителям.

Прошло несколько странных дней, во время которых родители словно не знали, как себя вести: они радовались, что Карми у нас хорошо, говорили, что хорошо бы ему пойти на седер к отцу, но после того, как Карми заявил, что лучше останется у нас, не пытались настаивать. Я был занят: снова сдавал тест SAT, потому что осенью собирался подавать документы в несколько университетов, как и все мои школьные товарищи, и не понимал, насколько деликатное это дело с Песахом, хоть и чувствовал, что обстановка напряженная.

В конце концов однажды вечером отец Карми пришел к нам. Он устроился на диване и спросил моих родителей, почему они не хотят позволить его сыну отпраздновать Песах с родными.

– Я благодарен вам, что вы приняли Карми в свой дом, но всем понятно, что вы – *не настоящая* его семья, это же очевидно, – слова «не настоящая» он произнес таким неприятным тоном, что родителям явно стало не по себе. Отец предпочел бы, чтобы отвечала мама, но мистер Тауб обращался к нему, пристально глядя в глаза.

– Мы ни разу не говорили Карми, что он должен остаться с нами. Он попросил об этом сам, и мы согласились. Но, можете не сомневаться, мы поддерживаем вас в желании собрать детей на праздник.

– Что-то непохоже, что вы меня поддерживаете. Карми – ребенок, мало ли что он болтает.

– Если он не хочет встречать Песах у себя, не можем же мы его заставить... – промямлил отец.

– То есть вы для него вообще не авторитет? Позволяете ему вытворять все что в голову взбредет? Да что вы вообще за родители? – закричал мистер Тауб. – Теперь-то я вижу, почему у вас с этим вот все так получилось...

Под «*этим вот*», само собой, подразумевался я.

– Хотите заставить Карми встретить Песах с вами – заставляйте. Но он знает – наши двери для него всегда открыты, – завершил разговор мой отец.

Мистер Тауб всегда ходил в одном и том же выцветшем черном лапсердаке и пыльной шляпе с широкими полями и низкой тульей. Глаза у него были серые и безумные, и сам он казался полной противоположностью Карми, который, судя

по всему, внешностью пошел в мать. Мистера Тауба все считали одним из столпов ультраортодоксального Брайтона. Если он кому-то был нужен, все знали, что он сидит в *бейт мидраш** и читает священные тексты. Глядя, как нагло он говорит с отцом, я в очередной раз недоумевал, как ему удалось родить семерых детей – не одного, не двух, а целых семерых, – не имея постоянной работы и полностью переложив их воспитание и зарабатывание денег на жену. Какая-то часть меня, та, что позлее, с удовольствием отмечала, как бесится мистер Тауб: теперь, когда Эстер не стало, его мир рухнул и стало ясно, что сам по себе он гроша ломаного не стоит. Наверняка ему было больно осознавать, что все, что якобы было построено им самим, рушится, когда рядом нет жены. Я испытывал тонкое садистское удовольствие, глядя, как он распаляется и кричит отцу: «То есть вы для него вообще не авторитет?» – прекрасно понимая, что это он сам утратил авторитет, когда семьи общины приняли его детей к себе.

Я поднялся в свою комнату и обнаружил там Карми. Он распластался на кровати, глядя в потолок.

– Скоро ужин, – объявил я.

– Он ушел? – спросил Карми, не поворачиваясь ко мне.

– Еще нет. Думаю, сейчас уйдет.

– Вообще не хочет меня в покое оставить.

Я вздохнул.

– Почему ты не хочешь вернуться на Песах к себе? Неуже-

ли тебе не хочется побыть с братьями и сестрами? – спросил я.

– Хочется, конечно. Только с ним видеться не хочу.

– Наверное, ему тоже трудно, – вполголоса сказал я и добавил: – Всем трудно.

– Трудно поверить, что это будет первый Песах без мамы. Лучше я останусь у вас. С братьями и сестрами я могу повидаться когда угодно, а с отцом ссориться мне неохота.

Я подумал, что Карми очень взрослый для своих лет. На людях он не проявлял эмоций, но стоило нам очутиться наедине, как в нем открывалась бездна чувств, страхов и обид.

– А почему ты так уверен, что вы поссоритесь?

– У нас и раньше отношения были не очень, а когда мама умерла, все разладилось окончательно, – ответил Карми.

Я изобразил грустную полуулыбку. Карми изобразил такую же.

– Он так хочет, чтобы ты пришел. Попробуй. Если что пойдет не так или станет совсем невыносимо, сразу вернешься к нам.

Мысли о споре мистера Тауба с отцом вскоре отошли на второй план, уступив место приготовлениям к празднику, изнурительной уборке всей семьей и заучиванию хвалебных псалмов, которые читались за столом во время седера. В доме не должно было остаться ни крошки хамеца, поэтому мама израсходовала всю муку, что у нас была, на хлеб и пиццу. Все смеялись и говорили, что перед Песахом мы немного

превращаемся в итальянцев; мы с Карми придумали дурацкую шутку и за столом по очереди просили друг друга передать соль с сильным итальянским акцентом. В конце концов отец фыркал, а мама требовала, чтобы мы прекратили. Но потом, поднявшись на второй этаж, чтобы сделать домашку, мы продолжали неуклюже передразнивать итальянский акцент и хохотали до слез. Задания мы недоделывали и засыпали с улыбкой – одновременно немного горькой и радостной, – адресованной нашему миру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.